

## Содержание

Предуведомление . . . . .	5
о. Оглядываясь на эпоху, или Почему сейчас нужно думать о том, как мы думаем . . . . .	9
I. Самотворный ум . . . . .	53
II. Умственный труд . . . . .	89
III. Ценность и смысл . . . . .	123
IV. От мифа к истории . . . . .	153
V. Надвое сказанное: гипотетичность в науке, религии и искусстве . . . . .	186
VI. Мимесис . . . . .	210
VII. Мироздание помысленное и увиденное . . . . .	239
VIII. Заложники лжи . . . . .	277
IX. Золотое, как небо, AI (Artificial Intelligence) . . . . .	310

## Предуведомление

Идеализм, как правило, полагается навсегда похороненным. О нем обычно говорят применительно к прошлому философии. Мысли, убежденной в своей практической эффективности и актуальности, хочется быть столь объективной и социально релевантной, что она теряет из виду отнюдь не материальную природу головной работы. Парадокс этой ситуации в том, что философии приходится выступать против самоутвердительного и самоорганизующегося ума, плодом которого она как раз и является. Вместо того чтобы идентифицировать себя в качестве мыслительного конструкта, она посвящает свои усилия критике интеллекта, обвиняя его то в неустранимой антиномичности, то в неспособности изменить мир, то в несоответствии беспрерывному потоку жизни, то в порабощенности предрассудками и невниманием к очевидностям, то в нежелании признать главенство над собой бытия, то в тиражировании симулякров, то, как в нынешнем «новом реализме», в принципиальной неадекватности предмету концептуализации. Философия отчуждается тем самым от человека и выпадает из созданной им социокультуры, как если бы не была интегрированной в ней. Чем настойчивее философы отрещиваются от идеализма, тем негативнее их антропологизм и тем более развиваемый ими дискурс тщится стать таким судом над социокультурой, вердикт которого мог бы втиснуть ее в неотменяемые нормативы, приостановить ее автодинамику. Такой расчет иллюзорен.

Как ни странно, философия, хоронящая идеализм, вторит ему в своем стремлении отмежеваться от человеческого ума. Абсолютизируя Дух, классический

идеализм не был готов понять его в качестве достоинства только человека — существа, как отпавшего от природы, так и принадлежащего ей телесно. Наш интеллект с этой точки зрения недостаточен, впадает в роковые заблуждения, если не проникается верой, или достаточен в той мере, в какой следует Откровению свыше и в какой в нем отражается сила Божественного ума. Еще один вариант идеализма — представление о самосовершенствующемся сознании, достигающем в заключение этого процесса той мудрости, которая свойственна верховному разуму. Если философия (в «Государстве» Платона, в «Феноменологии Духа» Гегеля) и возвращает человеку отторгнутый у него интеллект, то не здесь и сейчас, а в некоем обещанном будущем — во времени, которое лишь мыслится. Обóжиться в своем умствовании человек может лишь после конца истории, преодолев себя. Одна из причин, почему философия обрекла идеализм на невоспроизводимость, непродуктивность, заключена в том, что Новейшая история заставила ее приблизить будущее к настоящему, воображаемое время к переживаемому, перекинуть эволюционный мостик от современности к утопии (в виде просвещенческого «прогресса») — и растворить идеи в реальности нашего бытия-в-мире.

Задача моей книги — снять обычное для идеализма раздвоение ума на человеческий и сверхъестественный. Двойной ум, превосходящий самого себя, присущ каждому из нас. Сверхъестественность — наше неотъемлемое качество. Мы проецируем его вовне, потому что нам дано помыслить сразу и «я», и «не-я». Дух есть билатеральный интеллект, вступивший во внутренний диалог, в автокоммуникацию, чреватую созидательностью постольку, поскольку довлеет себе, освобождаясь от диктата внеположных нам обстоятельств. Продуктом духовного труда принято считать «высокую культуру» — искусство, религию,

теоретизирующую науку. Креативный двойной ум, однако, достояние вовсе не одних избранных. Он находит себе приложение и в каждодневной жизни, пусть суженное. Он творит реальность, в которую погружен любой человек независимо от величины своего вклада в ее выстраивание и сохранение и которую поэтому целесообразно именовать «социокультурой». Искусственная среда, в которой мы пребываем, являет собой идейное преобразование мировой материи, утрачивающей свои изначальные свойства и приобретающей новые — подобно глине, подвергаемой обжигу. Средства такого рода преобразования, перевода субстанции в транссубстанциальное состояние суть технические изобретения — цивилизационная оснастка социокультуры. Назначение техники — открыть инобытие за данным нам бытием. Для нового идеализма важно не только проникнуть вовнутрь сознания, но и учесть его перформативную способность, его инкорпорируемость в материальную культуру и социальный обиход, в порожденную человеком иновселенную. Воплотившись в вещах и институтах, идеи перестают быть собой, исчерпывают энергию, которая делала их генераторами инобытийного порядка, превращающегося в рутину. Чтобы удостоверить свое происхождение из головы, социокультура должна обновлять идейное основание, быть изменяющейся, инобытийной и для себя. История логоцентрична. Она обнаруживает ранее не задействованные возможности интеллекта, но менее всего при этом она прокладывает путь к Граду Божию. Ее телеология в том, чтобы выявить все потенции ума и, израсходовав их, завершиться, окончательно определив, в чем состояла миссия человека на Земле. Новый идеализм финалистичен, коль скоро за инобытием, в котором нашла себе место социокультура, больше нечему быть. Мы находимся сейчас в том промежутке, который ранее посредничал

между историей и утопией, а ныне означает обрыв первой и ирреальность второй.

Таковы вкратце некоторые предпосылки моей книги. Я благодарен Андрею Арьеву, Якову Гордину, Алексею Пурину и Илье Калинину, способствовавшим публикации ее частей в журналах «Звезда» и «Неприкосновенный запас». Илью Калинина я благодарю также за его готовность уже не в первый раз быть редактором сочиненных мною книг по философии. Всегдашнее спасибо Ирине Прохоровой, издательнице моих монографий, начиная с далекого теперь 1994 года. Ренате Лахманн помогла мне добрым советом, когда я обдумывал главу о лжи, а Станислав Савицкий побудил к написанию одного из фрагментов, вошедшего во вступление к книге. Я особенно признателен Надежде Григорьевой, моей конструктивной собеседнице на всем протяжении работы над «Философией интеллекта» и первой читательнице всех разделов этого текста.

Еще одного адресата благодарности нет в живых. Не будь я читателем прозы Андрея Битова и не веди я разговоры с ним, моя книга не была бы написана. Центральное в ней соображение о том, что наш ум силен в той степени, в какой он способен вообразить чужой рассудок и войти в кооперацию с ним, посетило меня, когда я слушал в 2007 году выступление Андрея в московском литературном кафе. Впервые я сформулировал это положение в очерке «Что такое интеллект», посвященном Андрею. Я приступил к составлению моей книги, когда Битов еще был жив, и завершаю ее теперь в память о нем.

## **о. Оглядываясь на эпоху, или Почему сейчас нужно думать о том, как мы думаем**

Дано мне тело...  
*Осип Мандельштам*

*Прошлое рядом.* Прежде чем рассуждать о том, в каком состоянии духа мы входим в новые двадцатые, я хочу заметить, что мне удалось застать остаток старых — столетней давности. Они еще давали о себе знать в послеблокадном Ленинграде, где прошло мое детство. Их сладковатый запах витал над керосиновой лавкой, расположившейся у Пяти углов. Их нетрезвый шум доносился из пока не закрытого пивного заведения в полуподвале на улице Рубинштейна. Бакалейная торговля на углу Чернышева переулка и Загородного проспекта называлась в народной молве «У Лютова» — по имени ее бывшего хозяина-нэпмана. За Лиговкой, на Обводном канале раскинулся гулкий и многолюдный Толкучий рынок — точь-в-точь тот же, что был запечатлен в «Столбцах» Николая Заболоцкого, появившихся в свет в 1929 году. В банях, что у Кузнечного рынка, у меня и у бабушки украли верхнюю одежду (у меня — беличью шубку, вывезенную из эвакуации, с Урала): жизнь разыгрывалась по сценариям, набросанным Михаилом Зощенко в его фельетонах о пореволюционном быте. Букинистические магазины ломались от книг, изданных в коротком промежутке между большевистским переворотом и набравшим силу сталинизмом, — их владельцы сгнули в блокаду. Недобитые частники держали фотостудии, портняжничали и врачевали на дому (мне никогда не удастся избавиться от мучительного воспоминания детской поры о том, как конкурировавший с государственной медициной

дантист нажимал ногой на педаль кустарной бор-машины, сверло которой, с медлительной неохотой ввинчиваясь в мой зуб, причиняло нестерпимую боль). По Загородному время от времени проезжали выкрашенные в черный цвет погребальные дроги, за которыми шли возглавляемые духовым оркестром похоронные процессии, направлявшиеся на Волково кладбище. Вскоре траурные марши перестали доноситься с улиц, лежавших поблизости от моего дома. Горевать на народе запрещалось.

После расстрелов и посадок по Ленинградскому делу следы НЭПа в городской жизни были стерты. Как мне кажется, Сталин прибегал к террору, полагая среди прочего, что от неуступчиво-цепкого в России прошлого нельзя отвязаться никаким иным путем, кроме физического уничтожения его носителей. В известном смысле этот террор той же природы, что и казни старообрядцев, учинявшиеся в Московском царстве. То, что оказывалось преодоленным по ходу истории, имело в восточнославянском ареале тенденцию продолжать в автономном режиме свое существование наряду с нововведениями. Старое не желало здесь сходить на нет, становилось обособленной частью настоящего, потому что новое являлось местному населению в облике этнически чуждого ему — в варяжском, греческом (и в момент крещения Руси, и во время реформ патриарха Никона), татаро-монгольском, западноевропейском. Чуткий к национальной истории Сталин истребил перед войной большевистскую гвардию, подозревая, что никакие раскаяния бывших оппозиционеров не сделают их интегральной составляющей общества, нацеленного на тотальную мобилизацию своих членов. После войны та же жертвенная участь постигла осиротевшее ждановское окружение, которое как бы отошло в историю со скоропостижной смертью своего вожака. Не исключено, что ленинградское руководство

и впрямь было не прочь предоставить жителям города, выдержавшего с невосполнимыми потерями вражескую осаду, скромные льготные права на самодетельность, помимо начинаний вездесущего государства. Я помню открывшуюся в Ленинграде в январе 1949 года Всероссийскую оптовую ярмарку, которая послужила Сталину и его присным доводом для устройства судилища над ленинградской партийной верхушкой. Для взрослых, которые привели меня на ярмарку, на явившийся откуда ни возьмись почти свободный рынок, она была сенсацией. (Меня, надо сказать, поразили не торговые ряды, запомнился выстроенный поодаль от них цирк, по внутренним стенам которого, вопреки закону притяжения, гоняли лихие мотоциклисты, что нарушало мои представления о возможном и невозможном так же, наверно, как они были поколеблены у покупателей на «распродаже излишних товаров» — так официально именовалась задача ярмарки.)

Тот факт, что Никита Хрущев попытался восстановить в стране досталинистский порядок (впрочем, не отменив коллективизацию крестьянских хозяйств), означал, что даже Большой террор не смог уничтожить былое, которое в России всегда (и сейчас тоже) претендует быть синхронным с современностью. Ранней весной 1956 года меня пригласили на собрание комсомольского актива моей школы, на котором секретарь Фрунзенского райкома партии, только что вернувшийся из Москвы, подробнейшим образом изложил содержание секретного доклада Хрущева о Сталине. Крушение тирана не слишком удивило меня — уже сразу после смерти Сталина я слышал, как старшие передавали друг другу полушепотом весть о том, что его авторитет пошатнулся (к его портретам в чиновничьих кабинетах отныне полагалось, невиданное дело, добавлять изображение Ленина). Что меня действительно



потрясло на собрании — наряд партийного функционера. На секретаре райкома был, трудно поверить, модный костюм! Этот человек был сродни нам, подросткам, взбивавшим кок и клеившим к башмакам резину из шин, чтобы подошвы были потолще. Так я понял, точнее, почувствовал, что мы на пороге новой эры. Сигналом, оповестившим о ее приближении, было желание людей, разных по своим социальным позициям, сообща выглядеть иначе, чем прежде. Еще до того, как она наступила, она обнаружила себя в виде пока пустых знаков, требовавших быть наполненными каким-то содержанием. О том, каким именно явится ее смысл, нельзя было догадаться по внешним предвестиям, сообщавшим, что она рядом. Этот смысл не вполне открылся и тогда, когда она пришла, будучи подвижно индивидуализованным во множестве вариантов и, соответственно, допускающим разноречивые толкования. Теперь она завершается, и пора говорить о том, в чем состояла ее инвариантная целеположенность.

*Третья мировая.* Период, начавшийся в 1960-х годах, стал симулякром до того протекавшей истории, истории вообще, которая принялась повторять себя и потеряла в этом самовоспроизведении свою перспективированность, волю к захвату будущего — свою сущность. Далекое не случайно, что формированию социокультуры последних десятилетий прошлого века и первых — нынешнего предшествовало сугубо формальное предупреждение о ней — шокировавшая публику небывалостью внешность, которую обрело молодое поколение, будь то советские стилисты или британские mods. Спустя не слишком много времени тело превратится из выставляющего свое экстравагантное облачение на всеобщее обозрение в предмет исследовательского интереса, который в философии Мишеля Фуко будет реабилитировать

плоть и сведет репрессивные стратегии государства и общества к биополитике, а в учении Антонио Дамасио сделает сознание не более чем результатом сотрудничества церебрального аппарата с органами чувств (как если бы нам не было в высшей степени свойственно устремляться умом в сверхчувственную реальность). В эстетике Ролана Барта текст привлекает нас в себя тем, что выступает изоморфным эротическому телу. В социологии Жана Бодрийера трансгрессивна не пытливая мысль, а соматика, бесценно выходящая за пределы наложенных на нее ограничений. Для истории, забывшей о будущем, тело с его присутствием здесь и сейчас оказалось главной эпохальной ценностью, отодвинувшей на задний план человека, строящего теории (их кризис — тема десятков книг и статей) и вынашивающего гипотезы в ожидании подтверждения своих догадок. По почину Жюль Делёза философия отказалась от проникновения в ноуменальную глубину явлений, довольствуясь рассмотрением их наружности, если и скрывающей в себе тайну, то лишь в своих «складках», «разрывах» и взаимодействиях со смежными поверхностями (ведь тело и внутри себя не ведает инаковости). Биодетерминизм завоевал психологию (впавшую в зависимость от физиологии мозга), культурологию (предназначив ей изучать, как от поколения к поколению передаются «мемы» — семантические аналоги генов) и социологию (вознамерившуюся представить общество продолжением выживания и конкуренции особей в естественной среде)<sup>1</sup>. Права животных — важная тема сегодняшних научных и парасциентистских дискуссий (не хочется думать, что защитники этих прав, в природе вовсе не соблюдаемых, — латентные каннибалы, желающие

.....  
<sup>1</sup> О биодетерминизме я подробно писал в другом месте: *Смирнов И. П. Кризис современности*. М., 2010. С. 261–289.

пополнить свой пищевой рацион существами, подобными людям). Бросив вызов интеллекту, тело не утратило той значимости для повседневной культуры, которую оно получило в середине XX столетия. Оно утверждает свою гегемонию в центрах фитнеса, в студиях татуировщиков, в порнографии, которой в изобилии снабжает нас интернет, в культуре диет и в массовом помешательстве на биологически чистых продуктах питания. Дамы средних и более чем средних лет, размахивающие в теплый летний день лыжными палками, которые прокладывают им маршрут в бессмертие, не подозревают, что принадлежат к той же парадигме, что и юные девицы в мини-юбках, боготворившие когда-то супермодель Твигги.

Нигде, кроме войны, тело (экстатическое, маскирующееся, искалеченное, мертвое, вышедшее невредимым из переделки) не выступает в социокультуре такой реальностью, которая могла бы поглотить собой человека целиком и безраздельно (в спорте, в отличие от битв, оно не подвергается постоянному смертельному риску, позволяя хотя бы на время отвлечься от себя). В своих войнах наша эпоха, зачарованная плотью, выражает себя отчетливее всего. Попав в центр общего внимания и подчинившись установке на самосохранение во что бы то ни стало, на спасение, тело обратилось в побудительный фактор, радикально изменившийся на рубеже XX и XXI веков характер воинских действий. На вступительной стадии этого процесса растрачивающие плоть вооруженные конфликты сдвинулись на периферию мира. Воздерживаясь от прямой конфронтации, угрожающей гибели человечества, ядерные сверхдержавы перенесли противостояние на территорию третьих стран: США послали войска во Вьетнам, СССР вторгся в Афганистан. Уроком, извлеченным из поражения сверхдержав, уступивших в обеих кампаниях заведомо слабому противнику, стало избегание столкновений

с партизанами и переход к асимметричным войнам, рассчитанным на полное подавление врага с воздуха перед началом наземных операций, как в случае изгнания коалицией стран во главе с США иракских войск из Кувейта в январе–феврале 1991 года. Та же стратегия, минимализующая потери в живой силе, претворила непосредственное противоборство антагонистов в войну их заместителей. Мировая война распалась на великое множество локальных конфликтов, дирижируемых извне (пусть то будут бои в Ливии, где армию маршала Халифы Хафтара наиболее активно поддержали Россия и Объединенные Арабские Эмираты, а на сторону правительства национального единства под руководством Фаиза Сараджа стала Турция). Перепорученная соперничающими государствами их репрезентантам война неразрывно связывается с интригой, манипулирующей третьим лицом, то есть преобразуется из продолжения политики иными средствами в политику войны. Отныне политика не предохраняет общество от материального урона на войне, а делает ставку на нее в расчете на то, что она не причинит социальному телу большого ущерба. Смешение политики с войной, уподобляющее первую второй, ведет к тому, что чужая территория может теперь захватываться без единого выстрела, как об этом свидетельствует отторжение Крыма от Украины. Война делается все более и более бестелесной благодаря замещению человека на поле сражений боевыми роботами и беспилотными летательными аппаратами и перемещению батальонов в космос и cyberspace. В тех условиях, в которых сцену театра военных действий занимают автономные системы оружия, человеческому героизму не остается ничего иного, как быть актом самопожертвования, что сплошь и рядом демонстрируют исламистские террористы. Солдаты Саддама Хусейна, попытавшиеся во время вторжения США в Ирак

в 2003 году убедить американский разведывательный робот в том, чтобы он взял их в плен (к чему тот не был подготовлен), — наглядный пример той разницы, которая возникла между старой и новой войнами.

Многолетние наблюдения ученых за поведением группы нгого-шимпанзе в национальном парке в Уганде показали, что приматы пускаются на убийство сородичей из соседней группы тогда, когда их собственный коллектив, разрастаясь, начинает ощущать свою мощь, достаточную для того, чтобы увеличить жизненное пространство, которое находится в его распоряжении. Чем более для человекообразных обезьян релевантна социальность, тем менее ценен для них род. То же самое у людей. За схваткой государств проглядывает иное сражение. Войну ведет *homo socialis*. Его противником выступает *homo sapiens*. Любая война была до сих пор обречена на поражение, завершаясь миром. Будущее, маячившее на горизонте истории, всегда противостояло агрессивности настоящего, что Иммануил Кант обобщил на исходе века Просвещения в идее грядущего «вечного мира». Антропологическое перевешивает социальное, пусть даже мир, побеждающий войну, вынуждается, будучи хрупким, снова и снова доказывать, что человек не исчерпывается своей принадлежностью к ближайшему окружению. Переворот, произведенный в истории нашим временем, придал войне вид мира, изъяв таковой из области ожиданий. Вместо альтернативы «война или мир» мы имеем дело с трудноразложимым единством того и другого. Мировая война была нейтрализована страхом перед ядерной катастрофой в холодной войне, послужившей преддверием наших дней. Сегодня глобальная война разморожена, вовлекая в себя и те страны, что не участвуют в ней напрямую; нарушая международное право, гарантирующее государственный суверенитет, в операциях по устранению

террористов; милитаризуя торговлю в экономических блокадах и таможенных распрях; необъявленно разворачиваясь в средствах телекоммуникации. Боязнь долженствующей вот-вот разразиться войны была манипулятивно внушена населению России госпропагандой, отвлекающей внимание людей от экономики, которая чем дальше, тем сильнее становилась неблагополучной. Но по большому счету их тревога, хотя бы она и была разбужена искусственным способом, интуитивно попадает в цель.

«...Нет у революции конца». Общечеловеческое берет верх над коммунально-человеческим, социальным либо в миротворчестве, либо в революции, которая, если она полноценна, не просто перетряхивает правящую верхушку в обществе, но пробует освободить людей от его власти, дабы уравнивать их, вырвав из тех ролей, какие они исполняли в качестве его членов. Как и «вечный мир», эгалитаризм, провозглашаемый великими революциями, недостижим. Тем не менее они налагают на историю, способную, как выясняется, быть не местной, а антропологически значимой, свой неизгладимый отпечаток, придают ей генеральный смысл, который, не состоявшись однажды, определяет собой ее чаемую даль.

Время, в котором мы сейчас живем, открылось революцией 1968 года, всколыхнувшей не только Западную Европу и США, но и Японию, где студенты заняли Токийский университет (январь 1969), и отозвавшейся за «железным занавесом» в «Пражской весне»<sup>1</sup>. Ломка социополитических устоев

.....  
<sup>1</sup> До России эхо этой революции докатилось с большим опозданием в 1991 году, когда московская молодежь на баррикадах перед Белым домом сорвала попытку дворцового переворота, затеянную аппаратом обветшавшего советского режима. Вероятно, задержкой с массовым анти тоталитарным выступлением молодого поколения объясняется то обстоятельство, что самодеятельное (так называемое

послевоенной жизни далеко не случайно была и психоделической революцией, которую особенно усердно пропагандировал гарвардский профессор Тимоти Фрэнсис Лири (Leary). Надежды, возлагаемые на ЛСД, отвечали духу нарождающегося времени. Они предполагали, что воздействие наркотических средств на тело способно «расширить сознание», невиданным прежде образом переиначив его, основательно перестроить наше мировоззрение. Перекидывавшаяся из одного очага в другой, революция шестидесятников прошлого века претендовала на то, чтобы быть перманентной, как будто разыгрывая сценарий, который давным-давно продумал Лев Троцкий. Однако по своему содержанию она явилась отказом от большевистского эксперимента. Как писали ее трибуны, братья Даниэль и Габриэль Кон-Бендиты, молодежному восстанию не следует «создавать мессианистскую организацию», которая руководила бы им на «бюрократический» манер. Их манифест («C'est pour toi que tu fais la révolution») призывал к тому, чтобы сделать революцию «образом жизни», постоянным «здесь и сейчас», не несущим в себе «последнего слова», каковое «еще не сказано». Перед нами перманентность — по существу иная, чем в большевистском толковании: она имеет в виду не переход от настоящего (буржуазно-демократического, локального) к будущему (к мировой диктатуре пролетариата), а непрерывность самого настоящего как бунта. Симулятивная, безбудущностная история, в которой мы очутились, вызвала к жизни революцию, долженствовавшую быть самоцельным, репетитивным процессом. Восставшее

«гражданское») общество в России было быстро подавлено авторитарным режимом. Новая социальность, подобная евроамериканской, попросту не успела созреть в России так, чтобы набрать устойчивость, которая могла бы помешать регрессу в сторону недавнего тоталитарного прошлого.

в 1968 году юное поколение не было готово к захвату политической власти в обществе, что тут же положило бы конец революционному брожению. Принято думать, что в итоге оно изменило мировоззрение общества, не затронув его институциональной и классовой структур. Между тем положение вещей было много сложнее в сравнении с этим ходячим представлением о нем. Классические революции теряли свою энергию после перехода власти в руки восставших, то есть после того, как антропологически ориентированное начинание сходило на нет в практике социально-этического строительства. Еще прежде них застыл в догме, будучи оцерковленным, грандиозный переворот, произведенный христианством. Пост- и антитоталитарный революционный подъем вовсе не развился до стадии огосударствления и, таким образом, не заглох, несмотря на то что городские улицы и университетские кампусы очистились от протестующих. Социальность не подавила против нее направленное возмущение, не отложила реализацию его намерений на завтра, а прониклась тягой к решению уже сегодня задач общечеловеческого характера. Социальное (*sensus communis*) взяло на себя функцию антропологического (*sensus universalis*).

Вообще говоря, социальное — в грубом приближении — телесно, тогда как антропологическое — при таком же недифференцированном подходе — духовно. Общество было бы невозможно, если бы участники коллективной жизни не инкорпорировали его правила, согласуя свои действия, ритуализуя индивидуальное поведение по заданным образцам. Со своей стороны, родовой человек — прошу прощения за напоминание об очевидном — отпадает от природы в способности мыслить. Из узурпирования общественным человеком позиции человека как такового последовала утрата Духом суверенности



в качестве нашего (Гегелем эксплицированного) самосознания, подмененного сознанием, обращенным к телу. Дух, сосредоточившийся на телесной матери, придал у Жана Бодрийера решающее значение факту ее смертности и подверг критике возведенный людьми символический порядок, а в многочисленных нейрологических штудиях отождествил себя с анатомическим устройством мозга. Что касается практики, то общество, потревоженное событиями, которые произошли весной и летом 1968 года, постаралось придать себе общечеловеческое лицо, принялось организовывать свой соматический состав по антропологическому принципу, уравнивая в правах этнические, сексуальные, религиозные и прочие меньшинства с господствующим в социальном обиходе большинством и преодолевая дискриминации по половому и возрастному признакам (например, учитывая в законодательстве права детей). Выступление феминисток против патриархального социума, бывшее идейно продуктивным в 1970–1980-х годах, постепенно перестало приносить умственные плоды, но инерция этого протеста ощутима до сих пор. Сегодняшнее публичное мнение настаивает на абсолютной, не перерождающейся в меновую, цене тел, на что указывает среди прочего #MeToo-движение, возникшее как реакция на сексуальные домогательства всемогущего голливудского продюсера к молодым киноактрисам, ожидающим от него получения ролей. Негативный отклик населения на экономически вполне оправданное повышение государством пенсионного возраста, сплотивший во Франции в конце 2019 — начале 2020 года многотысячные стачечные массы, не в последнюю очередь объясняется тем, что защита законом наиболее уязвимых звеньев общества, к которым принадлежат, конечно, и пожилые люди, вошла в его привычку, хабитуализировалась. Пусть революция более чем

пятидесятилетней давности не обновила систему государственного правления, зато она усилила в либерально-демократических странах влияние, исходящую от *corps social*, подняв ее почти на тот же уровень, на каком находится институционализованная власть: французской администрации пришлось под натиском улицы взять назад многие пункты своей пенсионной реформы. (Острота проблемы пенсионных выплат, не замечаемая прагматичным государственным умом, в том, что они удостоверяют онтологический статус человека. Пенсионер получает деньги за то, что он (еще) есть.)

Пока женщины, набираясь вдохновения от #MeToo, не обособились от мужчин в касте неприкасаемых и пока держится (на несравненной мудрости своего верховного правителя) святая Русь, где народ, покряхтев и позубоскалив, если и не одобрил, то все же и не оспорил в уличных шествиях пенсионные нововведения, у низовой самодеятельности есть немалые резервы для нарастания. Кроме шуток: пытаясь насытить себя общечеловеческим смыслом, социальность не в состоянии довести до конца этот порыв, противоречащий ее существу. Не произнесшее «последнего слова» революционное вступление в период, в котором мы находимся, выявило с годами свою открытость для дополнения дальнейшими инициативами, не доходящими до завершения, как и их первая проба. В 1990-х годах революционность перекинулась на индустрию и банковский сектор, которые глобализовались поверх границ государств и национальных культур. Финансовые неурядицы, случившиеся осенью 2008 года, ознаменовали собой кризис глобализма, вышедшего из-под государственного надзора и пустившегося в самоволие на авантюры, в результате которых рухнул оборот капитала на свободном денежном рынке. Способствуя выживанию банков, государства в значительной степени

вернули себе утраченный ими контроль над хозяйственной деятельностью и сейчас усиливают его, втягиваясь по североамериканскому почину, положенному политикой Дональда Трампа, в таможенные разногласия. Глобализм — незрелый плод расчета на создание всемирного хозяйства, недореализованный проект.

Сходной гипотрофией отмечена и та революция сверху, которую постарались осуществить, объединяясь в союз, европейские страны. Добровольная уступка государствами части своих прерогатив национальному регулятивному органу, закрепленная в ряде соглашений, начиная с Маастрихтского (1992), была реакционной (в ценностно нейтральном, не пейоративном значении этого слова) революцией, подобной любой иной, не поднимающейся из толщи народных масс. Сколачивание Европейского сообщества компенсаторно отвечало на распад империй, начавшийся после Второй мировой войны (после поражения Японии и Италии, проводивших колониальную политику, и неудавшейся, показавшей ее бесперспективность, попытки Германии восстановить свой имперский статус, которого она лишилась по Версальскому договору). Холодная война явила собой не только состязание капитализма и реального социализма, но и (быть может, даже в большей мере) борьбу стран, освобождающихся от имперских амбиций, с последней империей — Советской. Империи возникли вместе с переходом от архаических ритуальных обществ к огосударственным историческим. Они были переводом линейно поступательного времени в пространственную экспансию, установлением власти над чужими территориями, отражающей господство в зародившейся истории настоящего и будущего над прошлым. Отказ Великобритании, Франции и Бельгии от колониальных владений подразумевал крах многовековой

веры в мощь линейной истории. Выстраивание Европейского сообщества, империи без колоний и метрополии, «как бы империи», соответствовало наступлению истории симулятивной, «как бы истории». Как и глобалистская стратегия, планы европейцев не дали устойчивого эффекта (еще один проект по созданию постимперии, Евразийский союз, окарикатуривший Европейское сообщество, занедужил уже при появлении на свет, когда Украина отказалась в 2014 году солидаризоваться с Москвой, вынашивавшей надежду на возрождение Советского Союза в исправленной версии). Единодушие европейцев не выдерживает испытания временем, которое двинулось вспять, туда, где государства были поглощены отстаиванием национальных интересов, неважно, чем была вызвана инволюция: эгоцентричным сопротивлением стран, принадлежавших к советскому блоку, миграции из неблагоприятных регионов планеты или неизгладимым из коллективного сознания англичан воспоминанием об их традиционной обособленности от континента, вылившимся в Брексит. Энтропийный процесс в Европейском сообществе находит миниатюризированное соответствие в угрозе фрагментаризации отдельных стран, в которых силен сепаратизм — шотландский, каталонский, фламандский.

Невозможность сполна совместить *sensus universalis* и *sensus communis*, воплотить первый во втором обратила шестидесятнический революционный энтузиазм в антропологический пессимизм, заявивший о себе начиная с 1980-х годов — с поры становления экологического движения. Оно потребовало от человека умерить удовлетворение им своих телесных нужд ради сохранения другого тела — Земли с ее биологическим и растительным разнообразием. Партийная доктрина «зеленых» выворачивает революционность наизнанку, контрапозиционируя ее в качестве уравнивающей всех людей по негативному

признаку, который они получают в роли безответственных делинквентов, нанесших ущерб природе. Нет партийности без мессианизма, без соблазнения избирателей идеями их спасения, пусть даже редуцированного, пусть сулящего им только материальные блага<sup>1</sup>. Мессианизм экологов продолжает эту линию партийных обещаний и вместе с тем беспрецедентен — он спасает не людей-в-мире, а мир от людей. Незавершенность революции, обозначившей наше вхождение в историю с неопределенным будущим, не только побудила общество к дополнительному революционному экспериментированию в промышленно-финансовой и этатической сферах, но и поставила его перед альтернативой: идти ли ему дальше по уже наметившемуся пути или вернуться к истоку достигнутого им состояния, чтобы категорически пересмотреть программу своего развития. Разумеется, «зеленые» не имеют ничего общего с формированием авторитарных демократий в России, Турции, Бразилии и других странах и с ростом правошовинистических партий по всей Европе. Тем не менее успех как экологической, так и патриотической идеологии равно свидетельствует об исчерпанности эпохального трансформационного потенциала, который требует, чтобы текущая современность либо произвела новую революцию, свергающую власть человека над природой, либо регрессировала в сторону давно преодоленного тоталитарного прошлого

.....

<sup>1</sup> Чем ультимативнее партийный посул, тем более он покушается на монополию в политической жизни, как то имеет место в однопартийных тоталитарных режимах. И напротив: чем относительно мессианизм партийной пропаганды, тем терпимее он к иным видениям будущего. Его образ в либеральных демократиях плюралистичен и потому размыт. История, не ведающая, куда она ведет, — продукт многопартийности, выработавшей его в момент борьбы с агонизирующим тоталитаризмом прошлого века, когда для идейного добывания врага в ход пошли крайние доводы.

с его сакрализацией политических лидеров и идеалом «народного государства». Подростки, выходявшие в западноевропейских городах по пятницам на демонстрации под экологическими лозунгами, повторяют поколенческий протест образца 1968 года, пусть даже «Fridays for Future», и почти пародийно ослабляют его в подрыве не основ общества, а всего лишь школьной дисциплины. Старания приостановить катастрофическое потепление климата стали приоритетом наших дней. Не будем гадать, принесут ли они желаемый результат. Оставив в покое спекуляции, зададимся, однако, вопросом о том, зачем и для кого сокращать выброс CO<sub>2</sub> в атмосферу, если проповедуемая экологами защита природы анализирует человеческую историю, берет ее назад как преступную, предпочитает на хайдеггерианский манер бытие субъекту, без которого оно, надо заметить, вовсе не было бы различимым? Беспилотные электромобили вроде бы наглядно доказывают, что прогресс осуществим и после того, как общество принялось жертвовать собой в пользу окружающей среды. В техническом плане так оно и есть. В антропологическом же изобретения в области искусственного интеллекта в сумме конструируют такую реальность, в которой позиция субъекта отводится, говоря на языке русской прозы XIX века, «лишнему человеку». Экологический пантеизм непоправимо апориен, будучи самоотрицанием, предпринимаемым духовной культурой. Мне хватает воображения, чтобы представить себе, как я отказываюсь от говядины на ужин, дабы не потворствовать порче атмосферы метаном, который обильно производят стада крупного рогатого скота. Но ведь если вегетарианство с веганами в авангарде (они отворачиваются даже от молока) станет повальным, то придется и коров занести в Красную книгу, где зарегистрированы исчезающие виды живых существ. Впрочем, не нужно

преувеличивать. Буренушки мигрируют в Индию, где найдут надежное убежище. Человек — оптимист по натуре, во всяком случае он был таковым до настоящего момента; он бессмертит, в отличие от животных, не род, а себя как индивида в уповании на загробное воздаяние. Примет ли он антропологический пессимизм «зеленых», неизвестно.

*Принуждение к авторству.* Сознание, избравшее в преимущественный предмет своей активности тело, уполномочило его быть творчески производительным. На заре эпохи, приближающейся теперь к концу, непродуктивная коллективная плоть была подвергнута острейшей критике в почти одновременно (1967–1968) появившихся в свет антиконсюмеристских сочинениях Ги Дебора, Жана Бодрийера и Рауля Ванейгема. Частнопредпринимательская экономика капитализма, обращающаяся к человеку как лишь к собственнику и овеществляющая жизнь, атаковалась этими авторами наравне с массовым покупателем, готовым влачить, по выражению Ванейгема, «бытие-в-объекте»<sup>1</sup>.

Позднее нападки на консюмеризм выдохлись, чтобы уступить место (например, у Тома Пикетти) сетованиям на несправедливое распределение общественного богатства, сконцентрированного в руках незначительного меньшинства. Отмена приказного, монополизированного государством хозяйства в России, Восточной Европе и Китае разбалансировала экономическое противостояние либеральных демократий тоталитаризму. Исчезновение межсистемной экономической конкуренции было восполнено за счет роста внутрисистемного напряжения между обществом и господствующим в нем

<sup>1</sup> *Vaneigem R. The Revolution of Everyday Life (Traité de savoir-vivre à l'usage des jeune générations. Paris, 1967). London, 1994. P. 34.*

капиталистическим способом производства. Попросту говоря, Запад перенял у тоталитарных режимов исполнявшуюся ими роль оппонентов капитализма, вовсе не поступившись при этом свободным рынком и частным предпринимательством. В такой половинчатой, раздираемой противоречием ситуации капитализм ставится под сомнение не в своих ординарных проявлениях, не как формирующий средний класс промышленников и торговцев, но в крайностях, позволяющих крупным корпорациям, банкам и биржевым спекулянтам распоряжаться львиной долей национального достояния. Радикализм недолго продержавшегося на социальной сцене движения «Оссуры Wall Street» (которому подпевал в своей философской публицистике Славой Жижек) или политических деклараций Берни Сандерса, во второй раз претендовавшего на пост президента США, имеет мнимый характер, выражаясь в протесте не против власти капитала вообще, а только против его чрезмерной мощи. Какое бы возмущение ни вызывало вопиющее имущественное неравенство, оно остается неустранимым из современной социореальности. Государство не более чем симулирует, успокаивая подданных, готовность сократить разницу в доходах, получаемых богатыми и бедными, — на самом же деле оно добивается выгоды для себя от того, что облагает в западноевропейских странах дополнительным налогом банки, страхуясь — путем добывания накоплений отсюда — на случай кризиса, или от того, что заставляет в России олигархов участвовать в финансировании национальных проектов. В истории, не различающей впереди ничего воистину иного по сравнению с ее настоящим, у капитализма нет никакой альтернативы, кроме видимости борьбы с ним. В качестве безальтернативного он может обслуживать и как будто исключаящий его мобилизационный политический режим, как в Китае.



Потребительский аппетит масс не только не пошел на убыль в обществе, шагнувшем из минувшего века в нынешний, но непрерывно возрастает, разжигаемый дешевизной товаров, изготовленных в странах с дешевой же рабочей силой, кредитованием спроса и online-торговлей, упростившей покупки. Тот факт, что критика консюмеризма, несмотря на его усиление, перестала быть злободневной, объясняется перевоплощением, в которое оказалось вовлеченным народное тело. Сознанию эпохи удалось привести *corps social* в творческое состояние, вследствие чего обывателю был отпущен пятнавший его грех собственничества. От первого альбома «Ливерпульской четверки» (1963) до рэперов, завоевавших известность в 1990-х годах, выходцы из социальных низов — оттуда, где правит не Дух, а плоть с ее повседневными нуждами, неустанно и с оглушительным успехом доказывали публике свое право на принадлежность к авангарду художественной культуры. Это «восстание масс» отличалось от предыдущего, разыгравшегося в 1920–1930-х годах, тем, что не несло в себе идеологического заряда, было автотеличным и потому эстетизированным. Творческий порыв, идущий из глубины общества, быстро нашел себе высокоумных толкователей в лице представителей Бирмингемской школы, занявшейся исследованием молодежных «субкультур» в так называемых «cultural studies». С точки зрения, которую занял Мишель де Серто («Изобретение повседневности», 1980), артистичен любой ординарный человек, коль скоро ему приходится разрабатывать «тактики» поведения, преодолевающие «стратегии» госучреждений и концернов. Бахтинская теория карнавала не случайно обрела признание тогда, когда концептуализованное в ней самосозидательное архаическое народное тело возродилось для нового бытования в условиях индивидуализованных социальных

противо- и взаимодействий. Без выдвигания тела на передний план социокультуры она не стала бы, как сейчас, прежде всего визуальной. Высокое искусство двинулось навстречу выказавшему свою эстетическую продуктивность быту в поп-арте и стрит-арте, в перформансах и акционизме (иногда имевшем как художественную, так и quasi-политическую функцию). Отреагировавшая на живопись Энди Уорхола и его соратников теория запретила себе проникновение в смысловую подоплеку художественных произведений, подходя к ним как к вещам среди вещей: в работе, инспирированной поп-артом, Артур Данто писал о том, что готовые предметы, используемые искусством современности, нуждаются не в «интерпретации», а в «идентификации»<sup>1</sup>. Существует ли еще элитарная художественная культура, доступная только избранным умам? Вряд ли. Следует ли оплакивать ее гибель? Да, и вот почему. Отсутствие разницы между искусством для посвященных и искусством для многих, стертой за счет того, что первое из них было поглощено вторым в бестселлерных романах — пляжном чтиве, телесериалах и рок-операх, отражает общее энтропийное состояние социокультуры, лишившейся дифференцированности в-себе и по этой причине более не способной отмежеваться от уже достигнутого ею ради дальнейших дерзаний. Головокружительный взлет цен на живопись происходит из-за того, что иначе, чем в денежном выражении, духовная культура не может ныне осуществлять разграничения, благодаря которым ранее ее продукты были ценны относительно друг друга, а не на внешнем ей рынке. Коммерциализация искусства, дружно оплакиваемая арт-сообществом, — следствие потери социокультурой воли к поступательной истории.

.....  
<sup>1</sup> *Danto A. C. The Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art.* Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1981. P. 115 ff.

Переход от биполярного мира времен холодной войны к полицентричному, приветствуемый политиками, увы, не слишком дальновидными, таит в себе ту опасность, что множит очаги вероятных конфликтов на планете, становящихся непредсказуемыми, вспыхивающими и впрямь то здесь, то там. Актуальная политическая культура столь же энтропийна, как и эстетическая. В еще большем хаосе, чем эти две, пребывает культура коммуникации. В докладе, прочитанном в Мюнхенском камерном театре в ноябре 1985 года, Йозеф Бойс наделил художественным даром каждого из нас: «Jeder Mensch ist ein Künstler». Даже в условиях фольклоризации художественного творчества, которой дали старт Боб Дилан, «The Beatles» и рок-фестиваль в Вудстоке (1969), утверждение Бойса было далеким от действительности. Оно, однако, антиципировало тот факт, что в интернете все его бесчисленные пользователи получили возможность быть если и не художниками, то во всяком случае авторами. Претендовать на авторство — значит стремиться придать порождаемому продукту хотя бы минимальную уникальность в расчете на производство не просто различий, а той особенности, которая лежит по ту сторону несходств, будучи отпадающей от них всех вместе взятых. Авторство, таким образом, — редкость, защищаемая копирайтом и выдачей патентов. Потеря авторством раритетности в интернете, где любое сообщение может быть в принципе сохранено навсегда, подобно тому как раньше социокультура консервировала в архиве свои ценности высшего ранга, вылилась в Гоббсову «войну всех против всех», ведущуюся в блогах и социальных сетях. Раз авторство всеобщее, то оно вынуждается доказывать свою конкурентоспособность, превосходящую рутинный *principium individuationis*, чрезвычайной агрессивностью — покушением на уничтожение партнеров

по коммуникативному акту. Моббинг, оскорбления контрагентов, угрозы лишить их жизни, обесценивание чужих высказываний и т.п. — обычный способ общения в электронном пространстве, агональном чаще, чем диалогическом<sup>1</sup>. Слово, насыщенное агрессивностью, а не раздумьем, — эквивалент телесного насилия. Дигитальная коммуникация парадоксальна: развеществляемые ею тела тем более доказывают свою неистребимость, чем требовательнее обрекает их на исчезновение цифровая машина. World Wide Web — медиум телепортации, коммуникативный канал, отвечающий временам, в которые Дух поставил себя в зависимость от тела, переселился в него. Я имею в виду не только selfies, Skype и Zoom, выставление тел напоказ на таких видеопорталах, как YouTube и Instagram, порносайты, тотальную слежку спецслужб за перемещениями владельцев смартфонов, описанную Эдвардом Сноуденом, или беспокоящуюся о нашем здоровье и внешнем виде рекламу, в жертву которой нас приносят торгующие данными клиентов интернет-корпорации. Много важнее то обстоятельство, что распространяемые такими способами образы наших тел, переходя из актуального присутствия в интернете в хранилище курсировавшей в нем информации, решительно изменяют традиционный состав социокультурной памяти, которая становится все менее семантической и все более соматической. В качестве долговременной память интернета слишком велика по объему и слишком неразборчива,

.....  
<sup>1</sup> Вражда превалирует в социальных сетях и потому еще, что высказывающиеся не могут перевести в них свою речь в перформанс, придать ей характер резолюции, подлежащей исполнению. Социальная сеть не агора, она не принимает решений. Уничтожительна речь, не добивающаяся доминантности над чужим словом. Ясно, почему интернет-сообщество атакует истеблишмент, имеющий реальную власть.

чтобы быть равнозначной до того сформировавшемуся социокультурному архиву. Как краткосрочная она, напротив, чересчур узка и избирательна, стущаясь в малом числе сенсаций, притягивающих к себе публичное внимание сразу в разных уголках «мировой деревни». Как бы то ни было, вымывание семантики из коллективной памяти подрывает надежность, достоверность текущих смысловых операций в интернете, которые выламываются из парадигм и превращаются в произвольные. Электронная коммуникация кишит ложными сообщениями, включая сюда троллинг и запуск в оборот всяческих теорий заговора. Соответственно, фэйковой становится и телепортация. Сегодняшний интернет имеет дело не только с аватарами, которые гарантировали анонимность авторства в условиях его массовости, но и с великим множеством видеофальшивок — с обманывающими нас телами (инструментом их изготовления служит FakeApp). Воцаряющийся в социальном общении беспорядок (его персонификация — Дональд Трамп, то и дело меняющий свои решения на противоположные) хоронит раннепостмодернистскую уверенность в том, что порядок («открытый», «ризоматический», «деиерархизированный», «фрактальный») может установиться и по ту сторону структур.

Что в войне, на которой вместо бойцов действуют автономные системы вооружения, что в быту и на производстве, где искусственный интеллект вытесняет естественный, что в экологии, отдающей предпочтение среде, а не человеку, что в медиальной сфере, заполняемой мнимой плотью, социокультура последних лет не хочет — одинаково в разных своих секторах — довольствоваться инкорпорированностью, устремляясь к транскорпорированию. Оно маркирует крайнюю границу периода, истощившего свою отправную программу.